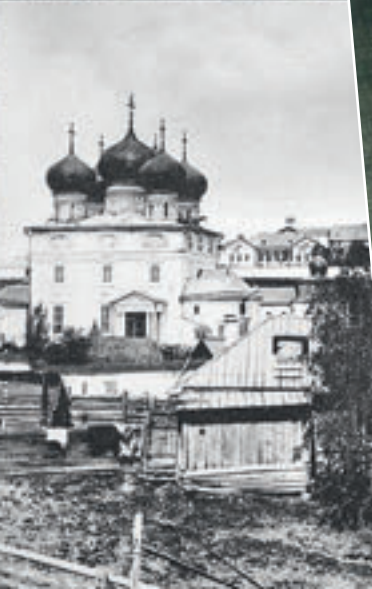
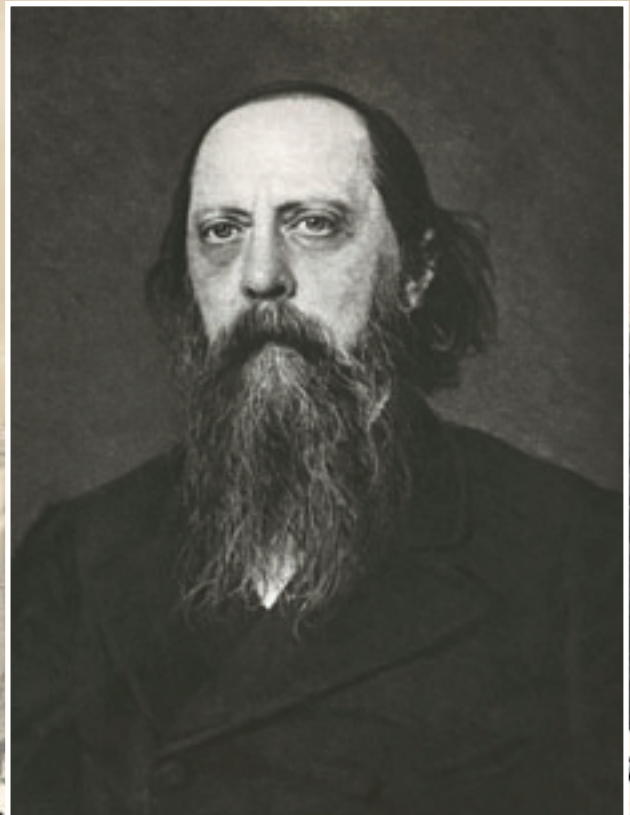




РОМАН ГАЗЕТА

2021 №20

Салтыков-Щедрин: правдивая биография



— Да как это...
 — Со мной, как же...
 — Мне бы...
 — А ты...
 — Нет, да!...
 — Вот так...
 — А ты...
 — Нет, да!...
 — А ты...
 — Нет, да!...



ПИСКАРЕВА Татьяна Вячеславовна

Поэт и эссеист, автор-составитель сборника, посвящённого жизни и творчеству М. Е. Салтыкова-Щедрина. Автор эссе о творчестве Николая Гумилева, Афанасия Фета, Федора Тютчева, Иосифа Бродского, Новеллы Матвеевой, Агнии Барто, Бориса Рыжего, других известных деятелях российской и мировой культуры. Стихотворения Татьяны Пискаревой публикуются в российских и зарубежных периодических изданиях, альманахах и поэтических сборниках. Они переведены на сербский и китайский языки, вошли в изданную в КНР «Антологию современной русской поэзии XX — начала XXI века». В России и за рубежом изданы поэтические переводы Татьяны Пискаревой из антологии «Сербская поэзия X–XIX веков», ИМЛИ им. Горького РАН.

Живет в Москве и Санкт-Петербурге.

Из писем и произведений разных лет

Если я усну и проснусь через сто лет и меня спросят, что сейчас происходит в России, я отвечу: пьют и воруют.

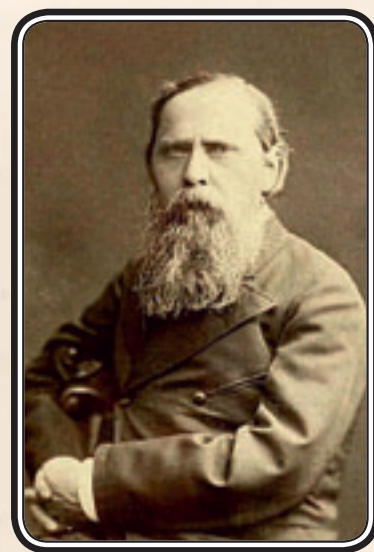
Чего-то хотелось: не то конституции, не то севрюжины с хреном, не то кого-нибудь ободрать...

Во всех странах железные дороги для передвижения служат, а у нас сверх того и для воровства.

Российская власть должна держать свой народ в состоянии постоянного изумления.

Когда и какой бюрократ не был убежден, что Россия есть пирог, к которому можно свободно подходить и закусывать?

Если на Святой Руси человек начнет удивляться, то он остолбенеет в удивлении и так до смерти столбом и простоят.



Окончание см. на 3 стр. обложки.



Н А Р О Д Н Ы Й Ж У Р Н А Л

РОМАН-ГАЗЕТА

УЧРЕДИТЕЛЬ ООО «РОМАН-ГАЗЕТА»

ЖУРНАЛ ЗАРЕГИСТРИРОВАН В КОМИТЕТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ПЕЧАТИ. СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ №013639 от 31 МАЯ 1995 г.

Учредитель и издатель
ООО «Роман-газета»

Главный редактор
Юрий Козлов

**Редакционная
коллегия:**
Дмитрий Белюкин
Алексей Варламов
Анатолий Заболоцкий
Владимир Личутин
Юрий Поляков

**Ответственный
редактор**
Елена Русакова

Права
на использование
товарного знака
«Роман-газета»
принадлежат
ООО «Роман-газета»
© ООО «Роман-газета», 2021
Все права защищены

Журнал зарегистрирован
в Министерстве связи
и массовых коммуникаций РФ.
Свидетельство о регистрации
ПИ № ФС77-68350
от 30.12.2016 г.

Подписаться
на журнал «Роман-газета»
можно в отделениях связи
и через Интернет:
roman-gazeta-1927@yandex.ru

**Подписные
индексы издания:**

в объединенном
каталоге

«Пресса России»

38915 на полугодие;

в электронном каталоге

«Почта России»

П1526 на полугодие

Точка зрения автора может
не совпадать с позицией
редакции

2021 №20 /1889/ Основана в 1927 г.

Салтыков-Щедрин: правдивая биография в письмах, суждениях и воспоминаниях

«Я на свете любил только одну особу — читателя...»

Татьяна ПИСКАРЁВА

Громадная сила — упорство тупоумия

Салтыков-Щедрин: груб, добросовестен, благонамерен

Чего только с ним не выделявали! «И вырезывали, и урезывали, и перетолковывали, и целиком запрещали, и всенародно объявляли, что я — вредный, вредный, вредный... Мало того: в родном городе некто пожертвовал в местный музей мой бюст. Стоял-стоял этот бюст год или два благополучно — и вдруг его куда-то вынесли. Оказалось, что я — вредный...»

Одним словом: не люб.

* * *

И это несмотря на прижизненную и пожизненную славу. На громкие, усиленные в 1926-м, в год столетнего юбилея, восторги цепких к его славе марксистов и большевиков, которым он был чрезвычайно близок уже тем, что смолodu встал «на самом левом фланге общественности, его привлекают по делу петрашевцев, первые его произведения возбуждают такой гнев властей предрержащих, что его ссылают» (Луначарский). Никто сегодня не скажет: «наше всё», глядя на несменяемые портреты Салтыкова-Щедрина в учебниках. Тем не менее не окончилось увлекательное чтение его книг даже в эпоху Интернета, в которую беспрепятственно вошли неистребимые, живучие и своевременные типажи и афоризмы, рассыпанные «мелочами жизни», словно шутовской горох, по российским просторам.

* * *

Горох тот давно уже пересох и не зелен, и надо бы поставить на него нерадивых учеников — как было принято в XIX веке — в угол, на коленки.

Или же найти, наконец, так долго и тщательно искомое: другие средства исправления. Хотя к типажам Салтыкова-Щедрина притерпелись, неправедных и неради-

Автор-составитель Т. В. Пискарева

вых никакой сатирой не проймешь. Но бюст Салтыкова стоит на своем законном месте, и облик его «дик и нравен» (как писал один мемуарист о семье, из которой писатель вышел — а можно было бы такое сказать и обо всей России).

Он пугает, словно врач, который знает про вас все, но «не отличается весёлым выражением лица».

«Его большие серые глаза сурово смотрели на всех, и он всегда молчал...» — написала о юном еще Салтыкове бойкая некрасовская муза Авдотья Панаева.

* * *

Советское литературоведение склонно было считать, что свой псевдоним Салтыков — как и положено борцу с реакцией — позаимствовал у собственных крестьян, а вовсе не по совету жены, когда он, «прислонившись спиной к топленной печке», жаловался на намеки начальства все-таки найти для литературных занятий другую фамилию. Сын Константин общается со слов матери («которой не доверять не могу»): взять «что-либо подходящее к слову *щедрый*, так как он в своих писаниях был чрезвычайно щедр на всякого рода сарказмы... отцу понравилась идея...».

Начальству было не под силу осмыслить разбег молодого язвительного сатирика, в недавнем прошлом — «сумрачного лицеиста».

Его проза сразу же наполнилась живым смыслом и вполне традиционным в нашей литературе трепетом над заботами «маленького человека». «И снова тосковал и стонал холодный ветер... и играл бедным человеком, как бумажкою, случайно брошенной на дороге», — по-гоголевски печалился Салтыков в повести «Запутанное дело».

* * *

Повесть, тем не менее, «произвела гвалт» (Панаева). В ней уже было классическое язвительное слово Салтыкова «смиряться и терпи!», уже «недоброжелательный голос подзыкал» и подтачивал благонамеренность: отчего бы и мне не уродиться князем?..

Бывший молчаливый лицеист быстро показал себя смелым и разговорчивым литератором, а в службе — беспокойным и даже дерзким чиновником. Он не только бросал вверенные ему расхлябанные чиновничьи отряды на горы бумаг и отписок, но сам (пример довольно редкий) трудился по двенадцать часов там, где ему было уныло и скверно.

Трудился и беспокоился, почти как его герой: «...прогуливаясь мелким шагом по комнате — не потому, впрочем, чтобы не мог ходить и крупным, а потому что крупному шагу препятствовала самая дистанция комнаты» («Запутанное дело»).

* * *

Два письма о жизни литератора были написаны в июне 1858 года в городе Рязани, почти день в день, но для разных адресатов: итог ненавязчивых наблюдений по линии жандармерии и письмо от рязанского вице-губернатора Михаила Салтыкова к брату.

«...точен, деятелен, распорядителен, добросовестен и благонамерен, но Салтыков нелюбим в губернии за неприятные манеры и грубое его обращение».

«...я живу здесь не как свободный человек, — говорилось в другом письме, — а в полном смысле слова как каторжник, работая ежедневно, не исключая и праздничных дней, не менее 12 часов. Подобного запущения и запустения я никогда не предполагал, хотя был приготовлен ко многому нехорошему; уж одно то, что в месячной ведомости показывается до 2 тыс. бумаг неисполненных, достаточно покажет тебе, в каком положении находится здешнее Губернское правление. Дело решительно душит меня. Если это так продолжится, то я выйду в отставку».

Уже тогда сослуживцы и подчиненные замечали за чиновником Салтыковым нечто странное.

«...Вообще онъ обнаруживает большое внимание къ дознаниямъ, испещряя бумагу различными замѣтками, въ родѣ: «такъ ли», «отчего нѣтъ объясненія?», «кончено ли дѣло?», «кто виновать?» и т.д.» (Барон Н. В. Дризен, «Михаил Евграфович Салтыков в Рязани»).

* * *

Потом, уже в Пензе, Салтыков помог дописать свой доклад местному Акакию Акакиевичу, которого к ночи сморил сон: вписал своим чудовищным почерком конец срочного донесения в Министерство. Там ужаснулись и письменно попеняли. На что Салтыков написал прямо на обороте министерской бумаги «Угрозами не руководствуюсь» и отослал ее обратно в Петербург. «Все в Пензе думали, что его предадут суду за подобную продерзость, — свидетельствует сын Салтыкова. — Однако, ко всеобщему удивлению, ничего неприятного для отца не произошло... После этого события уважение к моему отцу как в пензенском обществе, так и среди подчиненных еще больше возросло».

Почерк Салтыкова был именно таким, каким, наверное, и следует описывать «запутанное дело» современной ему России: он писал «какими-то иероглифами, совершенно непонятными для большинства не только малограмотных наборщиков того времени, но и для интеллигентных людей. Кроме того, он непрерывно делал выноски на полях листа бумаги, связь которых с текстом было найти довольно замысловато» (К. Салтыков).

Терпеливое переписывание рукописей писателя для типографий стоило его жене, вполне ладившей с ним изящной красавице Елизавете Аполлоновне Болтиной, заметной потери зрения.

* * *

Не то беда, что почерк Салтыкова не был гладким — почерк у того, кто имеет значительный чин, может быть каким угодно неразборчивым. Тут и княкса за слово сойдет.

А то важно, что Салтыков своим дерзким, неминистерским почерком описывал такое, что, казалось, вот-вот позволит обнаружить истину, и все в

государстве станут счастливы, а всеобщее запутанное дело распутается и пойдет на лад.

Но не тут-то было. Истина никак не обнаруживалась.

Салтыков ее так и не нашел, хотя искал долго, добросовестно и по заветам: как русской и мировой литературы, так и по обыкновенным заветам, народным.

* * *

«В Вятке, — приводит слова Салтыкова в своих «Воспоминаниях» издатель и общественный деятель Лонгин Пантелеев, — я ничего не писал, вел самую пустую жизнь, даже сильно пьянствовал... Но Вятка имела на меня и благодетельное влияние: она меня сблизила с действительной жизнью и дала много материалов для «Губернских очерков», а ранее я писал вздор».

Сосланный в Вятку за «вольнодумие», молодой Салтыков погрузился в отчаяние губернской жизни, как в стакан с водкой.

«А что ж такое, что конституция! Коли ты пьян да благонамерен — Христос с тобой! Ступай домой, ложись спать — сном все пройдет» («Культурные люди»).

Впрочем, Салтыков колебался, если написал в «Письмах к тётеньке», что «Веселие Руси есть лгати». Чему и зачем отдать предпочтение, пьянству или лжи, или их сочетанию — вопрос по сию пору остается открытым.

Оба пристрастия, когда «сном всё пройдет», у нас и для мужиков, и для генералов одинаково извинительны и естественны (к тому же, не будем забывать, что «...кто пьет вино с рассуждением, тот может потреблять оное не только без ущерба для собственного здоровья, но и с пользою для казны»).

«Вестник Европы» за 1881 год: Салтыков изречение *erga humanum est* (человеку свойственно ошибаться) изменил применительно «к нашему времени на *humanum est mentire*» (человеку свойственно лгать).

«Нет ни украшений, ни слез, ни смеха, ни перла создания — одна дерюжная, черт ее знает, правда или ложь».

Есть вмененное народу как повинность лукавство, потребляемое «с рассуждением», как «последнее средство, с помощью которого они думают поработить в свою пользу обезумевшее под игом злоключений большинство»...

* * *

Характеристику из статьи энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона о Салтыкове «на всем и на всех лежит печать чего-то удручающего, принижающего и властителей, и подвластных» — можно было применить ко всем городам (губернским и столичным), которые перевидал на своем веку писатель.

В каждом российском городе были свежи и актуальны две наши вневременные драмы, которые Салтыков считал удивительными как по глубине внутреннего содержания, так и по художественному достоинству: «Ревизор» и «Свои люди — сочтемся».

«Обе как бетховенские симфонии: ни одного слова нельзя ни убавить, ни прибавить». Ему пришлось всего лишь дополнить их своими размышлениями и до сих пор никем не превзойденной галереей сатирических персонажей. По свидетельству Л. Пантелеева, Салтыков считал «Современную идиллию», «Господ Головлевых», «Дневник провинциала» настоящими романами: «в них, несмотря даже на то, что они составлены как бы из отдельных рассказов, взяты целые периоды нашей жизни». Но не все сразу оценивалось по достоинству. Про очевидно талантливые «Губернские очерки» говорили и одобрительно, и критически. Тургенев был категоричен («это совсем не литература, а черт знает что такое!»), а спустя годы, завидя, Салтыкова, первым подходил к нему: «...и при этом дал мне отгиск своей статьи о моей «Истории одного города» (кажется, статья была напечатана в английском «Атенеуме»), сравнивал меня со Свифтом...» (Л. Пантелеев).

* * *

Писатель нешуточно волновался, когда его читали, посмеиваясь, подозревая в этом забаву полусонных и пугливых обывателей.

По Тургеневу, юмор у Салтыкова «серьезный и злобный», по Писареву — «невинный».

А народовец, большевик, историк и литературовед Михаил Ольминский, составивший солидный «Щедринский словарь», писал сестре из одиночной камеры: «Это, кажется, первый раз со времени перевода в Крест, что я его не брал в руки так долго. Чем больше его читаешь, тем он интереснее... И он имел право обижаться, ибо сила и значение его, вся его душа не в смешных местах, а в длинных «скучных» строчках... читать его лежачи или с целью посмеяться — значит оскорблять его память, а он этого не заслуживает».

Оскорблением Салтыкова было бы не только неумение читать «длинные строчки», но и противоестественное (и в каком-то смысле губительное) нежелание (или неумение) посмеяться. «Не все же стоять, уставившись лбом в стену; надо когда-нибудь и улыбнуться. Есть в человеческом сердце эта потребность улыбки, есть. Даже измученный и ошеломленный человек — и тот ощущает ее».

Салтыков не переоценивал «умение говорить между строками» и не уповал на чудодейственные свойства иносказательного «рабьего языка». «Рабий язык все-таки рабий язык, и ничего больше. Улица никогда между строк читать не умела, и по отношению к ней рабий язык не имел и не мог иметь воспитательного значения. Так что если тут и была победа, то очень и очень небольшая» («Письма к тётеньке»).

Так сказать о значении «рабьего языка» мог писатель, который, найдя для своих книг достаточно сюжетов, понимает степень осмысленности улицы и умение кого бы то ни было читать между строк, не ждет каких-то особенных похвал, в особенности за это: «Неизменным предметом моей литературной

деятельности всегда был протест против произвола, двоедущия, лганья, хищничества, предательства, пустомыслия».

* * *

Помог Салтыкову в сочинении сказок про карая-идеалиста, самоотверженного зайца и прочих пустомыслящих животных его приятель, либерал, петербургский голова, затем председатель столичного мирового съезда, впоследствии сенатор Владимир Лихачев. Он давал ему читать своего Брэма, а потом Салтыков и сам его приобрел, чтобы не одалживаться у друга.

Сказочные персонажи занимают (вопреки версии общеобразовательной школы) далеко не самую обширную часть корпуса литературных сюжетов Салтыкова-Щедрина.

Туда вошла замечательная и по-прежнему злободневная публицистика, а также все чины и сословия, характеры, привычки и ужимки, какие только можно было не только наблюдать воочию, но и досочинять, основываясь на логике развития всеобщей, простирающейся и до наших дней истории города Глупова, его правил, уложений и законов.

Это обилие и разнообразие подтверждает объявление какого-то современного антиквара о продаже «Щедринского словаря»: «Редкий толстый (760 стр.) словарь по произведениям Салтыкова-Щедрина 1937 года издания».

К концу жизни он не останавливался, страшился не только болезни, но физической невозможности писать: «у меня вместе с чернилами, стекающими с пера, складывается и фраза».

* * *

Салтыков-Щедрин обдумывал вместе с читателем, что же конкретно делать простому мужику с двумя генералами, долго ли ему еще вить для себя веревку, чтобы, собственноручно привязавшись, быть при «белых и сытых» вечным кормильцем. Простейшая конструкция из двух генералов, мужика и веревки, вероятно, сцеплена («они так и закоченели, вцепившись в него») навеки, как некая молекула H_2O , без которой, как известно, все живое в мире погибнет.

Простой мужик — он же обыватель, заурядный покупатель и потребитель — «...живет изо дня в день; ничего не провидит, и только практика может вызвать его из оцепенения. Когда наступит время для практических применений, когда к нему принесут окладной лист, или сын его, с заплаканными глазами, прибежит из школы — только тогда он вспомнит, что нечто читал, да не догадался подумать. Но и тут его успокоит соображение: зачем думать? все равно плетью обуха не перешибешь! — «Ступай, Петя, в школу — терпи!» «Готовь, жена, деньги! Новый налог бог послал!» («Мелочи жизни»).

Но не к топору же такого звать?

Ведь «в ловких руках он делается свиреп и немолчим».

Не туп ли он настолько, что готов «бунтовать в пользу законной власти»? («Культурные люди» — по требованию цензуры Некрасов был вынужден эти слова удалить).

«Ожидает одного: как бы за день его не искалечили. Ожидание это держит его в страхе и повиновении...»

Что мешает такому пустоголовому жить да радоваться? Лень? Робость? Натертая веревкой выязь? Удушение и цензура?

Словом, все те же вопросы, которые подметил в свое время на его бумагах барон Николай Васильевич Дризен: «Отчего нет объяснения?», «Кто виноват?».

* * *

«Частенько заходил также к нам цензор Ратынский, — вспоминал Константин Салтыков, — и выпивал целый графин красного вина, он информировал моего отца о том, что происходит в цензурном комитете». Также у Салтыкова бывали иные интересные лица: лейб-медик профессор Сергей Боткин, бывший Тверской губернский предводитель дворянства Алексей Унковский, сосланный при Николае I за то, что подарил часть принадлежавшей ему земли крестьянам, «человек до шепетильности честный».

Стороной Салтыкова обходили другие: например, его петербургский сосед (соседство домами) обер-прокурор Синода Победоносцев, не устававший «рекомендовать» писателя как человека «совершенно нежелательного».

...И все-таки, несмотря на доброжелательное отношение довольно многих разнокалиберных чиновников, при возвращении в Россию и на пересечении границы «каждый раз, как поезд покидал Эйдкунен, последнюю прусскую станцию, отец, видимо, чрезвычайно волновался, как бы боясь, что его возьмут да арестуют» (К. Салтыков).

* * *

Напрасно сатирик так нервничал. Близилась новая эпоха, хлопот и без него хватало.

Салтыков сердцем был в будущем — но будущем без радикализма.

Переживал убийство Александра II, которого в определенном смысле мог считать своим соратником за реформу 61-го года — хотя, конечно, не так тяжело, как закрытие в 1884 году журнала «Отечественные записки».

Его сатира так же решительно перечеркивала безобразия города Глупова и крепостное право, как многие его современники с колебаниями, но отвергали радикальную прокламацию «Молодая Россия» Петра Заинчевского: «...мы издадим один крик: «В топоры!».

Салтыков-Щедрин был и, наверное, всегда будет с теми, кто способен без крика «В топоры!» понять, в чем заключено главное, из века в век переживаемое, сакральное зло: в «громадной силе упорства тупоумия». Сила-то громадная, но все еще недостаточно нами изученная.

Константин АРСЕНЬЕВ

Статья из «Энциклопедического словаря»
Брокгауза и Ефрона (1890–1907 гг.)

САЛТЫКОВ Михаил Евграфович — знаменитый русский писатель. Родился 15 января 1826 г. в старой дворянской семье, в имении родителей, селе Спас-Угол Калязинского уезда Тверской губернии. Хотя в примечании к «Пошехонской старине» С. и просил не смешивать его с личностью Никанора Затрапезного, от имени которого ведется рассказ, но полнейшее сходство многого, сообщаемого о Затрапезном, с несомненными фактами жизни С. позволяет предполагать, что «Пошехонская старина» имеет отчасти автобиографический характер. Первым учителем С. был крепостной человек его родителей, живописец Павел; потом с ним занимались старшая его сестра, священник соседнего села, гувернантка и студент Московской духовной академии. Десяти лет от роду он поступил в московский Дворянский институт (нечто вроде гимназии, с пансионом), а два года спустя был переведен, как один из отличнейших учеников, казеннокоштным воспитанником в Царскосельский (позже — Александровский) лицей. В 1844 г. окончил курс по второму разряду (т. е. с чином X класса), семнадцатым из двадцати двух учеников, потому что поведение его аттестовалось не более как «довольно хорошим»: к обычным школьным проступкам («грубость», куренье, небрежность в одежде) у него присоединялось писание стихов «неодобрительного» содержания. В лицее, под влиянием свежих еще тогда пушкинских преданий, каждый курс имел своего поэта; в XIII курсе эту роль играл С. Несколько его стихотворений было помещено в «Библиотеке для Чтения» 1841 и 1842 гг., когда он был еще лицеистом; другие, напечатанные в «Современнике» (ред. Плетнева) 1844 и 1845 гг., написаны им также еще в лицее (все эти стихотворения перепечатаны в «Материалах для биографии М. Е. Салтыкова», приложенных к полному собранию его сочинений). Ни одно из стихотворений С. (отчасти переводных, отчасти оригинальных) не носит на себе следов таланта; позднейшие по времени даже уступают более ранним. С. скоро понял что у него нет призвания к поэзии, перестал писать стихи и не любил, когда ему о них напоминали. И в этих ученических упражнениях, однако, чувствуется искреннее настроение, большей частью грустное, меланхолическое (у тогдашних знакомых С. слыл под именем «мрачного лицеиста»). В августе 1844 г. С. был зачислен на службу в канцелярию военного министра и только через два года получил там первое штатное место — помощника секретаря. Литература уже тогда занимала его гораздо больше, чем служба: он не только много читал, увлекаясь в осо-

бенности Ж. Зандом и французскими социалистами (блестящая картина этого увлечения нарисована им, тридцать лет спустя, в четвертой главе сборника: «За рубежом»), но и писал — сначала небольшие библиографические заметки (в «Отечественных Записках» 1847 г.), а потом повести: «Противоречия» (там же, ноябрь 1847) и «Запутанное дело» (март 1848). Уже в библиографических заметках, несмотря на маловажность книг, по поводу которых они написаны, проглядывает образ мыслей автора — его отвращение к рутине, к прописной морали, к крепостному праву; местами попадаются и блестящие насмешливого юмора. В первой повести С., которую он никогда впоследствии не перепечатывал, звучит, сдавленно и глухо, та самая тема, на которую были написаны ранние романы Ж. Занда: признание прав жизни и страсти. Герой повести Нагибин — человек, обессиленный тепличным воспитанием и беззащитный против влияний среды, против «мелочей жизни». Страх перед этими мелочами и тогда, и позже (см., напр., «Дорога» в «Губернских Очерках») был знаком, по-видимому, и самому С. — но у него это был тот страх, который служит источником борьбы, а не уныния. В Нагибине отразился, таким образом, только один небольшой уголок внутренней жизни автора. Другое действующее лицо романа — «женщина-кулак» Крошина — напоминает Анну Павловну Затрапезную из «Пошехонской старины», т. е. навеяно, вероятно, семейными воспоминаниями С. Гораздо крупнее «Запутанное дело» (перепеч. в «Невинных рассказах»), написанное под сильным влиянием «Шинели», может быть и «Бедных людей», но заключающее в себе несколько замечательных страниц (напр., изображение пирамиды из человеческих тел, которая снится Мичулину). «Россия, — так размышляет герой повести, — государство обширное, обильное и богатое; да человек-то глуп, мрет себе с голоду в обильном государстве». «Жизнь — лотерея», — подсказывает ему привычный взгляд, завещанный ему отцом; «оно так — отвечает какой-то недоброжелательный голос, — но почему же она лотерея, почему ж бы не быть ей просто жизнью? Несколькими месяцами раньше такие рассуждения остались бы, может быть, незамеченными, но «Запутанное дело» появилось в свет как раз тогда, когда февральская революция во Франции отразилась в России учреждением негласного комитета, облеченного особыми полномочиями для обуздания печати. 28 апреля 1848 г. С. был выслан в Вятку и 3 июля определен канцелярским чиновником при вятском губернском правлении. В ноябре того же года он был назначен старшим чиновником особых поручений при вятском губернаторе, затем два раза исправлял должность правителя губернаторской канцелярии, а с августа 1850 г. был советником губернского правления. О службе его в Вятке сохранилось мало сведений, но, судя по записке о земельных беспорядках в Слободском уезде, найденной после смерти С.

в его бумагах и подробно изложенной в «Материалах» для его биографии, он горячо принимал к сердцу свои обязанности, когда они приводили его в непосредственное соприкосновение с народной массой и давали ему возможность быть ей полезным. Провинциальную жизнь в самых темных ее сторонах, в то время легко ускользавших от взора, С. узнал как нельзя лучше благодаря командировкам и следствиям, которые на него возлагались — и богатый запас сделанных им наблюдений нашел себе место в «Губернских Очерках». Тяжелую скуку умственного одиночества он разгонял внеслужебными занятиями: сохранились отрывки его переводов из Токвиля, Вивьена, Шерюеля и заметки, написанные им по поводу известной книги Беккари. Для сестер Болтиных, из которых одна в 1856 г. стала его женою, он составил «Краткую историю России». В ноябре 1855 г. ему разрешено было наконец совершенно оставить Вятку (откуда он до тех пор только один раз выезжал к себе в тверскую деревню); в феврале 1856 г. он был причислен к министерству внутренних дел, в июне того же года назначен чиновником особых поручений при министре и в августе командирован в губернии Тверскую и Владимирскую для обозрения делопроизводства губернских комитетов ополчения (созванного, по случаю восточной войны, в 1855 г.). В его бумагах нашелся черновик записки, составленной им при исполнении этого поручения. Она удостоверяет, что так называемые дворянские губернии представляли перед С. не в лучшем виде, чем недворянская Вятская; злоупотреблений при снаряжении ополчения им было обнаружено множество. Несколько позже им была составлена записка об устройстве градских и земских полиций, проникнутая мало еще распространенной тогда идеей децентрализации и весьма смело подчеркивавшая недостатки действовавших порядков. Вслед за возвращением С. из ссылки возобновилась с большим блеском его литературная деятельность. Имя надворного советника Щедрина, которым были подписаны появлявшиеся в «Русском Вестнике» с 1856 г. «Губернские Очерки», сразу сделалось одним из самых любимых и популярных. Собранные в одно целое, «Губернские Очерки» в 1857 г. выдержали два издания (впоследствии — еще два, в 1864 и 1882 гг.). Они положили начало целой литературе, получившей название обличительной, но сами принадлежали к ней только отчасти. Внешняя сторона мира кляуз, взяток, всяческих злоупотреблений наполняет всецело лишь некоторые из очерков; на первый план выдвигается психология чиновничьего быта, выступают такие крупные фигуры, как Порфирий Петрович, как «озорник», первообраз «помпадуrow», или «надорванный», первообраз «ташкентцев», как Перегоренский, с неукротимым ябедничеством которого должно считаться даже административное полномочие. Юмор, как и у Гоголя, чередуется в «Губернских Очерках» с лиризмом; такие страни-

цы, как обращение к провинции (в «Скуке»), производят до сих пор глубокое впечатление. Чем были «Губернские Очерки» для русского общества, только что пробудившегося к новой жизни и с радостным удивлением следившего за первыми проблемами свободного слова, — это легко себе представить. Обстоятельствами тогдашнего времени объясняется и то, что автор «Губернских Очерков» мог не только оставаться на службе, но и получать более ответственные должности. В марте 1858 г. С. был назначен рязанским вице-губернатором, в апреле 1860 г. переведен на ту же должность в Тверь. Пишет он в это время очень много, сначала в разных журналах (кроме «Русского Вестника» — в «Атенее», «Современнике», «Библиотеке для Чтения», «Московском Вестнике»), но с 1860 г. — почти исключительно в «Современнике» (в 1861 г. С. поместил несколько небольших статей в «Московских Ведомостях» (ред. В. Ф. Корш), в 1882 г. — несколько сцен и рассказов в журнале «Время»). Из написанного им между 1858 и 1862 г. составились два сборника — «Невинные рассказы» и «Сатиры в прозе»; и тот и другой изданы отдельно три раза (1863, 1881, 1885). В картинах провинциальной жизни, которые С. теперь рисует, Крутогорск (т. е. Вятка) скоро уступает Глупову, представляющему собою не какой-нибудь определенный, а типичный русский город — тот город, «историю» которого, понимаемого в еще более широком смысле, несколькими годами позже написал С. Мы видим здесь как последние вспышки отживающего крепостного строя («Госпожа Падейкова», «Наш дружеский хлам», «Наш губернский день»), так и очерки так называемого возрождения в Глупове, не идущего дальше попыток сохранить в новых формах старое содержание. Староглуповец «представлялся милым уже потому, что был не ужасно, а смешно отвратителен; новоглуповец продолжает быть отвратительным — и в тоже время утратил способность быть милым» («Наши глуповские дела»). В настоящем и будущем Глупова усматривается один «конфуз»: «идти вперед — трудно, идти назад — невозможно». Только в самом конце этюдов о Глупове проглядывает нечто похожее на луч надежды: С. выражает уверенность, что «новоглуповец будет последним из глуповцев». В феврале 1862 г. С. в первый раз вышел в отставку. Он хотел поселиться в Москве и основать там двухнедельный журнал; когда ему это не удалось, он переехал в Петербург и с начала 1863 г. стал фактически одним из редакторов «Современника». В продолжение двух лет он помещает в нем беллетристические произведения, общественные и театральные хроники, московские письма, рецензии на книги, полемические заметки, публицистические статьи. Все это, за исключением немногих сцен и рассказов, вошедших в состав отдельных изданий («Невинные рассказы», «Признаки времени», «Помпадуры и Помпадури»), остается до сих пор не перепечатанным, хотя включает в себе много

интересного и важного (обзор содержания статей, помещенных С. в «Современнике» 1863 и 1864 гг., см. в книге А. Н. Пыпина: «М. Е. Салтыков» (СПб., 1879). Есть основание надеяться, что эти статьи — или большая их часть — войдут в состав следующего издания сочинений С.). К этому же приблизительно времени относятся замечания С. на проект устава о книгопечатании, составленный комиссией под председательством кн. Д. А. Оболенского (см. «Материалы для биографии М. Е. Салтыкова»). Главный недостаток проекта С. видит в том, что он ограничивается заменой одной формы произвола, беспорядочной и хаотической, другой, систематизированной и формально узаконенной. Весьма вероятно, что стеснения, которые «Современник» на каждом шагу встречал со стороны цензуры, в связи с отсутствием надежды на скорую перемену к лучшему, побудили С. опять вступить на службу, но по другому ведомству, менее прикосновенному к злобе дня. В ноябре 1864 г. он был назначен управляющим пензенской казенной палатой, два года спустя переведен на ту же должность в Тулу, а в октябре 1867 г. — в Рязань. Эти годы были временем его наименьшей литературной деятельности: в продолжение трех лет (1865, 1866, 1867) в печати появилась только одна его статья «Завещание моим детям» («Современник», 1866, № 1; перепеч. в «Признаках времени»). Тяга его к литературе оставалась, однако, прежняя: как только «Отечественные Записки» перешли (с 1 января 1868 г.) под редакцию Некрасова, С. сделался одним из самых усердных их сотрудников, а в июне 1868 г. окончательно покинул службу и сделался одним из главных сотрудников и руководителей журнала, официальным редактором которого стал десять лет спустя, после смерти Некрасова. Пока существовали «Отечественные Записки», т. е. до 1884 г., С. работал исключительно для них. Большая часть написанного им в это время вошла в состав следующих сборников: «Признаки времени» и «Письма из провинции» (1870, 72, 85), «Истории одного города» (1 и 2 изд. 1870; 3 изд. 1883), «Помпадуры и Помпадурши» (1873, 77, 82, 86), «Господа Ташкентцы» (1873, 81, 85), «Дневник провинциала в Петербурге» (1873, 81, 85), «Благонамеренные речи» (1876, 83), «В среде умеренности и аккуратности» (1878, 81, 85), «Господа Головлевы» (1880, 83), «Сборник» (1881, 83), «Убежище Монрепо» (1882, 83), «Круглый год» (1880, 83), «За рубежом» (1881), «Письма к тетеньке» (1882), «Современная Идиллия» (1885), «Недоконченные беседы» (1885), «Пошехонские рассказы» (1886). Сверх того, в «Отечественных Записках» были напечатаны в 1876 г. «Культурные люди» и «Итоги», при жизни С. не перепечатанные ни в одном из его сборников, но включенные в посмертное издание его сочинений. «Сказки», изданные особо в 1887 г., повлиялись первоначально в «Отечествен. Записках», «Неделе», «Русских Ведомостях» и «Сборнике литературного фонда». После

запрещения «Отечественных Записок» С. помещал свои произведения преимущественно в «Вестнике Европы»; отдельно «Пестрые письма» и «Мелочи жизни» были изданы при жизни автора (1886 и 1887), «Пошехонская Старина» — уже после его смерти, в 1890 г. Здоровье С., расшатанное еще с половины 70-х годов, было глубоко потрясено запрещением «Отечественных Записок». Впечатление, произведенное на него этим событием, изображено им самим с большою силой в одной из сказок («Приключение с Крамольниковым», который «однажды утром, проснувшись, совершенно явственно ощутил, что его нет») и в первом «Пестром письме», начинающемся словами: «Несколько месяцев тому назад я совершенно неожиданно лишился употребления языка...» Редакционной работой С. занимался неутомимо и страстно, живо принимая к сердцу все касающееся журнала. Окруженный людьми ему симпатичными и с ним солидарными, С. чувствовал себя, благодаря «Отечественным Запискам», в постоянном общении с читателями, на постоянной, если можно так выразиться, службе у литературы, которую он так горячо любил и которой посвятил в «Круглом годе» такой чудный хвалебный гимн (письмо С. к сыну, написанное незадолго до смерти, оканчивается словами: «паче всего любви родную литературу и звание литератора предпочитай всякому другому»). Незаменимой утратой был для него поэтому разрыв непосредственной связи между ним и публикой. С. знал, что «читатель-друг» по-прежнему существует — но этот читатель «заробел, затерялся в толпе и дознаться, где именно он находится, довольно трудно». Мысль об одиночестве, «о брошенности» удручает его все больше и больше, обостряемая физическими страданиями и, в свою очередь, обостряющая их. «Болен я — восклицает он в первой главе «Мелочей жизни» — невыносимо. Недуг впился в меня всеми когтями и не выпускает из них. Изможденное тело ничего не может ему противопоставить». Последние его годы были медленной агонией, но он не переставал писать, пока мог держать перо, и его творчество оставалось до конца сильным и свободным; «Пошехонская Старина» ни в чем не уступает его лучшим произведениям. Незадолго до смерти он начал новый труд, об основной мысли которого можно составить себе понятие уже по его заглавию: «Забывшие слова» («Были, знаете, слова», — сказал Салтыков Н. К. Михайловскому незадолго до смерти, — ну, совесть, отечество, человечество, другие там еще... А теперь потрудитесь-ка из поискать!.. Надо же напомнить!»). Он умер 28 апреля 1889 г. и погребен 2 мая, согласно его желанию на Волковом кладбище, рядом с Тургеневым.

Двадцать лет сряду все крупные явления русской общественной жизни встречали отголосок в сатире С., иногда предугадывавшей их еще в зародыше. Это своего рода исторический документ, доходя-

ший местами до полного сочетания реальной и художественной правды. Занимает свой пост С. в то время, когда завершился главный цикл «великих реформ» и, говоря словами Некрасова, «рановременные меры» (рановременные, конечно, только с точки зрения их противников) «теряли должные размеры и с треском пятились назад». Осуществление реформ, за одним лишь исключением, попало в руки людей, им враждебных. В обществе все резко заявляли о себе обычные результаты реакции и застоя: мельчали учреждения, мельчали люди, усиливался дух хищения и наживы, всплывало наверх все легковесное и пустое. При таких условиях для писателя с дарованием С. трудно было воздержаться от сатиры. Орудием борьбы становится в его руках даже экскурсия в прошедшее: составляя «Историю одного города», он имеет в виду — как видно из письма его к А. Н. Пыпину, опубликованного в 1889 г., — исключительно настоящее. «Историческая форма рассказа, — говорит он, — была для меня удобна потому, что позволяла мне свободнее обращаться к известным явлениям жизни... Критик должен сам угадать и другим внушить, что Парамоша — совсем не Магницкий только, но вместе с тем и NN. И даже не NN., а все вообще люди известной партии, и ныне не утратившей своей силы». И действительно, Бородавкин («История одного города»), пишущий втихомолку «Устав о нестеснении градоначальников законами», и помещик Поскудников («Дневник провинциала в Петербурге»), «признающий не бесполезным подвергнуть расстрелянию всех несогласно мыслящих» — это одного поля ягоды; бичующая их сатира преследует одну и ту же цель, все равно, идет ли речь о прошедшем или о настоящем. Все написанное С. в первой половине семидесятых годов дает отпор главным образом отчаянным усилиям побежденных — побежденных реформами предыдущего десятилетия — опять завоевать потерянные позиции или вознаградить себя так или иначе за понесенные утраты. В «Письмах о провинции» историографы — т. е. те, которые издавна делали русскую историю — ведут борьбу с новыми сочинителями, в «Дневнике провинциала» сыплются как из рога изобилия проекты, выдвигающие на первый план «благонадежных и знающих обстоятельства местных землевладельцев»; в «Помпадурах и Помпадуршах» крепкоголовые «экзаменуют» мировых посредников, признаваемых отщепенцами дворянского лагеря. В «Господах Ташкентцах» мы знакомимся с «просветителями, свободными от наук», и узнаем, что «Ташкент есть страна, лежащая всюду, где бьют по зубам и где имеет право гражданства предание о Макаре, телят не гонящем». «Помпадуры» — это руководители, прошедшие курс административных наук у Бореля или у Донона; «Ташкентцы» — это исполнители помпадурских приказаний. Не шадит С. и новые учреждения — земство, суд, адвокатуру, не шадит их именно потому, что требует от них много-

го и возмущается каждой уступкой, сделанной ими «мелочам жизни». Отсюда и строгость его к некоторым органам печати, занимавшимся, по его выражению, «пенкоснимательством». В пылу борьбы С. мог быть несправедливым к отдельным лицам, корпорациям и учреждениям, но только потому, что перед ним всегда носилось высокое представление о задачах эпохи. Литература, например, может быть названа солью русской жизни: что будет, — думал С., — если соль перестанет быть соленою, если к ограничениям, не зависящим от литературы, она прибавит еще добровольное самоограничение?..

С усложнением русской жизни, с появлением новых общественных сил и видоизменением старых, с умножением опасностей, грозящих мирному развитию народа, расширяются и рамки творчества Салтыкова. Ко второй половине семидесятых годов относится создание им таких типов, как Дерунов и Стрелов, Разуваев и Колупаев. В их лице хищничество, с небывалою до тех пор смелостью, предъявляет свои права на роль «столпа», то есть опоры общества — и эти права признаются за ним с разных сторон как нечто должное (припомним станового пристава Грациапова и собирателя «материалов» в «Убежище Монрепо»). Мы видим победоносный поход «чумазого» на «дворянские усыпальницы», слышим допеваемые «дворянские мелодии», присутствуем при гонении против Анпетовых и Парначевых, заподозренных в «пущании революции промежду себя». Еще печальнее картины, представляемые разлагающеюся семьею, непримиримым разладом между «отцами» и «детьми» — между кузиной Машенькой и «непочтительным Коронатом», между Молчалиным и его Павлом Алексеевичем, между Разумовым и его Степой. «Больное место» (напеч. в «Отеч. Зап». 1879 г., переп. в «Сборнике»), в котором этот разлад изображен с потрясающим драматизмом, — один из кульминационных пунктов дарования С. «Хандрящим людям», уставшим надеяться и изнывающим в своих углах, противопоставляются «люди торжествующей современности», консерваторы в образе либерала (Тебеньков) и консерваторы с национальным оттенком (Плешивцев), узкие государственники, стремящиеся, в сущности, к совершенно аналогичным результатам, хотя и управляющиеся один — «с Офицерской в столичном городе Петербурге, другой — с Плющихи в столичном городе Москве». С особенным негодованием обрушивается сатирик на «литературные клоповники», избравшие девизом: «Мыслить не полагается», целью — порабощение народа, средством для достижения цели — оклеветание противников. «Торжествующая свинья», выведенная на сцену в одной из последних глав — «За рубежом», не только допрашивает «правду», но и издевается над нею, «сыскивает ее своими средствами» гложет ее с громким чавканьем, публично, нисколько не стесняясь. В литературу, с другой стороны, вторгается улица «с ее бессвязным галденьем, низменною несложностью